

Бел-горючее

Глухая чужеземная тоска звенит внутри, тебя не отпуская, и ты идёшь по лезвию, по краю – чужому краю – сам себе дикарь. Когда твой дом не дом тебе, не храм (за тридевять земель – почти у чёрта),

так хочется от крыш и улиц мёртвых уплыть к святым кисельным берегам:

туда, где стынет камень бел-горюч – начало всех начал и откровений, где горлинка-заря в одно мгновение рождает озорной червонный луч, а воды рек живительно-светлы, как птичье молоко чудной Гаганы*, – прильнуть, припасть к земле обетованной сухой душой, истлевшей до золы.

И слушать, слушать молча тишину густых небес языческих, сварожьих, прочувствовав нутром сполна (до дрожи) славянский дух, разлитый по всему

пространству первобытному, и стать – вне времени, вне жизни быстротечной –

разрыв-травой, Смородинкою-речкой, далёким отголоском птичьих стай.

И смолкнет чужекая тоска – бесовская, тягучая, чумная –

в купальском солнце ласкового края, растает в белопенных облаках.

И заново появится в груди желанье видеть близкое, родное

в чужих глазах, подёрнутых враждою, и лицах незнакомых. Погляди! –

душа летит в расплёсканную синь –

три дня ей петь на воле песни Ирьи.

а после...

после – пепел вместе с пылью.

...она уже не сможет

без Руси.

*Согласно русским поверьям алатырь (бел-горюч камень) охраняют мудрая змея Гарафена и волшебная птица Гагана, единственная во Вселенной, которая способна давать молоко.

Не забыть

Память злостная так упряма:

вновь гвоздём ковыряет душу.

Как забыть, подскажи мне, мама,

боль, которая разум глушит?

Каждый день я пытаюсь снова

жить, но это сродни Голгофе.

И привычки – совсем не вдовьи –

ставить в блюдца две чашки кофе,

вешать свитер на спинку стула,

где недавно ещё сидел *Он*...

Ныне дом наш – старик сутулый.

Мир застывший очерчен мелом.

Как забыть, если стерва-память

всё хранит: каждый миг и дату?

Горечь – словно тяжёлый камень –

мне не скинуть – в судьбу впечатан.

Запах ампул, больничных коек,

рук любимых и дрожь, и слабость,

время терпкое и больное

всякий раз я забыть стараюсь.

Только связаны нитью прочной

скорбь и память, что море с рифом.

Как рубить? По частям, кусочкам?

Или быстро? – Всё труд Сизифов.

Как идти и держаться прямо?

Снова в храме звучит молебен.

...Ты о Нём позаботься, мама,
там, на небе.

У разлуки черны, будто смоль, крыла

У разлуки черны, будто смоль, крыла.

Да полынный вкус...

Словно ночь, на ладони мои легла

Неземная грусть.

Развела над лесами туман и мглу.

Не сыскать путей.

Даже солнце разбрасывает золу

Уж который день.

У брусничных болот, где мертва вода,

Спит моя душа.

Не взлететь без тебя ей – печаль густа.

Тяжело дышать.

С губ срываются много беззвучных мольб.

Но нельзя назад...

У разлуки звериный оскал и боль.

Да мои глаза.

Янтарные костры

Ало-рыжий, безумный, лихой пожар

из листвы облетевшей ещё не стих,

но зима, над умолкшей землей ворожа,

прячет снежные хлопья в сухой горсти.

Саксофонно звучит морозящий дождь,

будто стонет, прощаясь в последний раз,

ранний холод бесчувственен и толстокож:

он не слышит во тьме ни дождя, ни нас –

не готовых к метельно-седым ночам

и беззвёздно-дремотной декабрьской мгле,

мы испили кленовый дурманящий чай,

мы познали медовых закатов плен,

привязались к теплу вечеров цветных,

словно пара бездомных и верных псов –
в двух шагах от космато-угрюмой зимы,
в сантиметре от гордых стальных снегов.

Мы по локоть увязли в осенних снах,
не поверив ершистым сквозным ветрам.

Посмотри: журавлиный косяк в небесах –
это осень уходит в далёкий край –
за моря, за леса, словно в мир иной,
так похожий на тот, где ютится смерть.

Ты не плачь...потому, что вдвоём суждено
нам в последних янтарных кострах
сгореть.